

Мне было тогда лет двадцать пять, – начал Н.Н., – дела давно минувших дней, как видите. Я только что вырвался на волю и уехал за границу, не для того, чтобы «кончить мое воспитание», как говаривалось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир Божий. Я был здоров, молод, весел, деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись – я жил без оглядки, делал, что хотел, процветал, одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники золоченые, да и думает, что это-то и есть хлеб насущный; а придет время – и хлеба не попросишься. Но толковать об этом не для чего.

Я путешествовал без всякой цели, без плана; останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица – именно лица. Меня занимали исключительно одни люди; я ненавидел любопытные памятники, замечательные собрания, один вид лон-лакея[1] возбуждал во мне ощущение тоски и злобы; я чуть с ума не сошел в дрезденском «Грюне Гевёлбе».[2] Природа действовала на меня чрезвычайно, но я не любил так называемых ее красот, необыкновенных гор, утесов, водопадов; я не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала. Зато лица, живые, человеческие лица – речи людей, их движения, смех – вот без чего я обойтись не мог. В толпе мне было всегда особенно легко и отратно; мне было весело идти, куда шли другие, кричать, когда другие кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат. Меня забавляло наблюдать людей... да я даже не наблюдал их – я их рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять сбиваюсь в сторону.

Итак, лет двадцать тому назад я проживал в немецком небольшом городке З., на левом берегу Рейна. Я искал уединения: я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Она была очень хороша собой и умна, кокетничала со всеми – и со мною грешным, – сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца не очень была глубока; но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству – чем молодость не тешится! – и поселился в З.

Городок этот мне понравился своим местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн, – а главное, своим хорошим вином. По его узким улицам гуляли вечером, тотчас после захождения солнца (дело было в июне), прехорошенькие белокурые немочки и, встретясь с иностранцем, произносили приятным голосом: «Guten Abend!»[3] – а некоторые из них не уходили даже и тогда, когда луна поднималась из-за острых крыш стареньких домов и мелкие камешки мостовой четко рисовались в ее неподвижных лучах. Я любил бродить тогда по городу; луна, казалось, пристально глядела на него с чистого неба; и город чувствовал этот взгляд и стоял чутко и мирно, весь облитый ее светом, этим безмятежным и в то же время тихо душу волнующим светом. Петух на высокой готической колокольне блестел бледным золотом; таким же золотом переливались струйки по черному глянцу речки; тоненькие свечи (немец бережлив!) скромно теплились в узких окнах под грифельными кровлями; виноградные лозы таинственно высывали свои завитые усики из-за каменных оград; что-то пробегало в тени около старинного колодца на трехугольной площади, внезапно раздавался сонливый свисток ночного сторожа, добродушная собака ворчала вполголоса, а воздух так и ластился к лицу, и липы пахли так сладко, что грудь поневоле все глубже и глубже дышала, и слово: «Гретхен» – не то восклицание, не то вопрос – так и просилось на уста.

Городок З. лежит в двух верстах от Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую реку и, не без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясенем. Маленькая статуя мадонны[4] с почти детским лицом и красным сердцем на груди, пронзенным

мечами, печально выглядывала из его ветвей. На противоположном берегу находился городок Л., немного побольше того, в котором я поселился. Однажды вечером сидел я на своей любимой скамье и глядел то на реку, то на небо, то на виноградники. Передо мною белоголовые мальчишки карабкались по бокам лодки, вытащенной на берег и опрокинутой насмоленным брюхом вверх. Кораблики тихо бежали на слабо надувшихся парусах; зеленоватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг донеслись до меня звуки музыки: я прислушался. В городе Л. играли вальс; контрабас гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, флейта свистала бойко.

– Что это? – спросил я у подошедшего ко мне старика в плісовом жилете, синих чулках и башмаках с пряжками.

– Это, – отвечал он мне, предварительно передвинув мундштук своей трубки из одного угла губ в другой, – студенты приехали из Б. на коммерш.

«А посмотрю-ка я на этот коммерш, – подумал я, – кстати же я в Л. не бывал». Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону.

II

Может быть, не всякий знает, что такое коммерш. Это особенного рода торжественный пир, на который сходятся студенты одной земли или братства (Landsmannschaft). Почти все участники в коммерше носят издавна установленный костюм немецких студентов: венгерки, большие сапоги и маленькие шапочки с околышами известных цветов. Собираются студенты обыкновенно к обеду под председательством сениора, то есть старшины, – и пируют до утра, пьют, поют песни, Landesvater,[5] Gaudeamus,[6] курят, бранят филистеров;[7] иногда они нанимают оркестр.

Такой точно коммерш происходил в г. Л. перед небольшой гостиницей под вывескою Солнца, в саду, выходившем на улицу. Над самой гостиницей и над садом веяли флаги; студенты сидели за столами под обстриженными липками; огромный бульдог лежал под одним из столов; в стороне, в беседке из плюща, помещались музыканты и усердно играли, то и дело подкрепляя себя пивом. На улице, перед низкой оградой сада, собралось довольно много народа: добрые граждане городка Л. не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей. Я тоже вмешался в толпу зрителей. Мне было весело смотреть на лица студентов; их объятия, восклицания, невинное кокетничанье молодости, горящие взгляды, смех без причины – лучший смех на свете – все это радостное кипение жизни юной, свежей, этот порыв вперед – куда бы то ни было, лишь бы вперед, – это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. «Уж не пойти ли к ним?» – спрашивал я себя...

– Ася, довольно тебе? – вдруг произнес за мною мужской голос по-русски.

– Подождем еще, – отвечал другой, женский голос на том же языке.

Я быстро обернулся... Взор мой упал на красивого молодого человека в фуражке и широкой куртке; он держал под руку девушку невысокого роста, в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица.

– Вы русские? – сорвалось у меня невольно с языка.

Молодой человек улыбнулся и промолвил:

– Да, русские.

– Я никак не ожидал.... в таком захолустье, – начал было я.

– И мы не ожидали, – перебил он меня, – что ж? тем лучше. Позвольте рекомендоваться: меня зовут Гагиным, а вот это моя... – он запнулся на мгновение, – моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?

Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя, так же как я, для своего удовольствия, неделю тому назад заехал в городок Л. да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, покрою платья, а главное, по выражению их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости... Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал... «Батюшки мои! не соврал ли я, не смеются ли надо мною», – казалось, говорил этот уторможенный взгляд... Проходило мгновение – и снова восстанавливалось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоумением. Да, я избегал русских, но Гагин мне понравился тотчас. Есть на свете такие счастливые лица: глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо, милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что, даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается.

Девушка, которую он назвал своей сестрою, с первого взгляда показалась мне очень миловидной. Было что-то свое, особенное, в складе ее смугловатого, круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными, светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита. Она нисколько не походила на своего брата.

– Хотите вы зайти к нам? – сказал мне Гагин, – кажется, довольно мы насмотрелись на немцев. Наши бы, правда, стекла разбили и поломали стулья, но эти уж больно скромны. Как ты думаешь, Ася, пойти нам домой?

Девушка утвердительно качнула головой.

– Мы живем за городом, – продолжал Гагин, – в винограднике, в одиноком домишке, высоко. У нас славно, посмотрите. Хозяйка обещала приготовить нам кислого молока. Теперь же скоро стемнеет, и вам лучше будет переезжать Рейн при луне.

Мы отправились. Через низкие ворота города (старинная стена из булыжника окружала его со всех сторон, даже бойницы не все еще обрушились) мы вышли в поле и, пройдя шагов сто вдоль каменной ограды, остановились перед узенькой калиткой. Гагин отворил ее и повел нас в гору по крутой тропинке. С обеих сторон, на уступах, рос виноград; солнце только что село, и алый тонкий свет лежал на зеленых лозах, на

высоких тычинок, на сухой земле, усеянной сплошь крупным и мелким плитняком, и на белой стене небольшого домика, с косыми черными перекладами и четырьмя светлыми окошками, стоявшего на самом верху горы, по которой мы взбирались.

— Вот и наше жилище! — воскликнул Гагин, как только мы стали приближаться к домику, — а вот и хозяйка несет молоко. Guten Abend, Madame!..[8] Мы сейчас примемся за еду; но прежде, — прибавил он, — оглянитесь... каков вид?

Вид был точно чудесный. Рейн лежал перед нами весь серебряный, между зелеными берегами; в одном месте он горел багряным золотом заката. Приютившийся к берегу городок показывал все свои дома и улицы; широко разбегались холмы и поля. Внизу было хорошо, но наверху еще лучше: меня особенно поразила чистота и глубина неба, сияющая прозрачность воздуха. Свежий и легкий, он тихо колыбался и перекатывался волнами, словно и ему было раздольнее на высоте.

— Отличную вы выбрали квартиру, — промолвил я.

— Это Ася ее нашла, — отвечал Гагин, — ну-ка, Ася, — продолжал он, — распорядись. Вели все сюда подать. Мы станем ужинать на воздухе. Тут музыка слышнее. Заметили ли вы, — прибавил он, обратясь ко мне, — вблизи иной вальс никуда не годится — пошлые, грубые звуки, — а в отдаленье, чудо! так и шевелит в вас все романтические струны.

Ася (собственное имя ее было Анна, но Гагин называл ее Асей, и уж вы позвольте мне ее так называть) — Ася отправилась в дом и скоро вернулась вместе с хозяйкой. Они вдвоем несли большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, сахаром, ягодами, хлебом. Мы уселись и принялись за ужин. Ася сняла шляпу; ее черные волосы, остриженные и причесанные, как у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши. Сначала она дичилась меня; но Гагин сказал ей:

— Ася, полно ежиться! он не кусается.

Она улыбнулась и немного спустя уже сама заговаривала со мной. Я не видал существа более подвижного. Ни одно мгновенье она не сидела смирно; вставала, убегала в дом и прибегала снова, напевала вполголоса, часто смеялась, и престранным образом: казалось, она смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову. Ее большие глаза глядели прямо, светло, смело, но иногда веки ее слегка щурились, и тогда взор ее внезапно становился глубок и нежен.

Мы проболтали часа два. День давно погас, и вечер, сперва весь огнистый, потом ясный и алый, потом бледный и смутный, тихо таял и переливался в ночь, а беседа наша все продолжалась, мирная и кроткая, как воздух, окружавший нас. Гагин велел принести бутылку рейнвейна; мы ее распили не спеша. Музыка по-прежнему долетала до нас, звуки ее казались слаще и нежнее; огни зажглись в городе и над рекою. Ася вдруг опустила голову, так что кудри ей на глаза упали, замолкла и вздохнула, а потом сказала нам, что хочет спать, и ушла в дом; я, однако, видел, как она, не зажигая свечи, долго стояла за нераскрытым окном. Наконец луна встала и заиграла по Рейну; все осветилось, потемнело, изменилось, даже вино в наших граненых стаканах заблестело таинственным блеском. Ветер упал, точно крылья сложил, и замер; ночным, душистым теплом повеяло от земли.

– Пора! – воскликнул я, – а то, пожалуй, перевозчика не сыщешь.

– Пора, – повторил Гагин.

Мы пошли вниз по тропинке. Камни вдруг посыпались за нами: это Ася нас догоняла.

– Ты разве не спишь? – спросил ее брат, но она, не ответив ему ни слова, пробежала мимо.

Последние умиравшие плошки, зажженные студентами в саду гостиницы, освещали снизу листья деревьев, что придавало им праздничный и фантастический вид. Мы нашли Асю у берега: она разговаривала с перевозчиком. Я прыгнул в лодку и простился с новыми моими друзьями. Гагин обещал навестить меня на следующий день; я пожал его руку и протянул свою Асе; но она только посмотрела на меня и покачала головой. Лодка отчалила и понеслась по быстрой реке. Первозчик, бодрый старик, с напряжением погружал весла в темную воду.

– Вы в лунный столб въехали, вы его разбили, – закричала мне Ася.

Я опустил глаза; вокруг лодки, чернея, колыхались волны.

– Прощайте! – раздался опять ее голос.

– До завтра, – проговорил за нею Гагин.

Лодка причалила. Я вышел и оглянулся. Никого уж не было видно на противоположном берегу. Лунный столб опять тянулся золотым мостом через всю реку. словно на прощание примчались звуки старинного ланнеровского вальса. Гагин был прав: я почувствовал, что все струны сердца моего задрожали в ответ на те заискивающие напевы. Я отправился домой через потемневшие поля, медленно вдыхая пахучий воздух, и пришел в свою комнатку весь разнеженный сладостным томлением беспредметных и бесконечных ожиданий. Я чувствовал себя счастливым... Но отчего я был счастлив? Я ничего не желал, я ни о чем не думал... Я был счастлив.

Чуть не смеясь от избытка приятных и игривых чувств, я нырнул в постель и уже закрыл было глаза, как вдруг мне пришло на ум, что в течение вечера я ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице... «Что же это значит? – спросил я самого себя. – Разве я не влюблен?» Но, задав себе этот вопрос, я, кажется, немедленно заснул, как дитя в колыбели.

На другое утро (я уже проснулся, но еще не вставал) стук палки раздался у меня под окном, и голос, который я тотчас признал за голос Гагина, запел:

Ты спишь ли? Гитарой

Тебя разбужу...

Я поспешил ему отворить дверь.

— Здравствуйте, — сказал Гагин, входя, — я вас раненько потревожил, но посмотрите, какое утро. Свежесть, роса, жаворонки поют...

С своими курчавыми блестящими волосами, открытой шеей и розовыми щеками он сам был свеж, как утро.

Я оделся; мы вышли в садик, сели на лавочку, велели подать себе кофе и принялись беседовать. Гагин сообщил мне свои планы на будущее: владея порядочным состоянием и ни от кого не завися, он хотел посвятить себя живописи и только сожалел о том, что поздно хватился за ум и много времени потратил попустому; я также упомянул о моих предположениях, да, кстати, поверил ему тайну моей несчастной любви. Он выслушал меня с снисхождением, но, сколько я мог заметить, сильного сочувствия к моей страсти я в нем не возбудил. Вздохнувши вслед за мной раза два из вежливости, Гагин предложил мне пойти к нему посмотреть его этюды. Я тотчас согласился.

Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отправилась на «развалину». Верстах в двух от города Л. находились остатки феодального замка. Гагин раскрыл мне все свои картоны. В его этюдах было много жизни и правды, что-то свободное и широкое; но ни один из них не был окончен, и рисунок показался мне небрежен и неверен. Я откровенно высказал ему мое мнение.

— Да, да, — подхватил он со вздохом, — вы правы; все это очень плохо и незрело, что делать! Не учился я как следует, да и проклятая славянская распущенность берет свое. Пока мечтаешь о работе, так и паришь орлом: землю, кажется, сдвинул бы с места — а в исполнении тотчас слабеешь и устаешь.

Я начал было ободрять его, но он махнул рукой и, собравши картоны в охапку, бросил их на диван.

— Коли хватит терпенья, из меня выйдет что-нибудь, — промолвил он сквозь зубы, — не хватит, останусь недорослем из дворян. Пойдемте-ка лучше Асю отыскивать.

Мы пошли.

Дорога к развалине вилась по скату узкой лесистой долины; на дне ее бежал ручей и шумно прядал через камни, как бы торопясь слиться с великой рекой, спокойно сиявшей за темной гранью круто рассеченных горных гребней. Гагин обратил мое внимание на некоторые счастливо освещенные места; в словах его слышался если не живописец, то уж наверное художник. Скоро показалась развалина. На самой вершине голой скалы возвышалась четырехугольная башня, вся черная, еще крепкая, но словно разрубленная продольной трещиной. Мшистые стены примыкали к башне; кой-где лепился плющ; искривленные деревца свешивались с седых бойниц и рухнувших сводов. Каменистая тропинка вела к уцелевшим воротам. Мы уже подходили к ним, как вдруг впереди нас мелькнула женская фигура, быстро перебежала по груде обломков и поместилась на уступе стены, прямо над пропастью.

— А ведь это Ася! — воскликнул Гагин, — экая сумасшедшая!

Мы вошли в ворота и очутились на небольшом дворике, до половины заросшем дикими яблонями и крапивой. На уступе сидела, точно, Ася. Она повернулась к нам лицом и засмеялась, но не тронулась с места. Гагин погрозил ей пальцем, а я громко упрекнул ее в неосторожности.

— Полноте, — сказал мне шепотом Гагин, — не дразните ее; вы ее не знаете: она, пожалуй, еще на башню взберется. А вот вы лучше подивитесь смышлености здешних жителей.

Я оглянулся. В уголке, приютившись в крошечном деревянном балаганчике, старушка вязала чулок и косилась на нас чрез очки. Она продавала туристам пиво, пряники и зельтерскую воду. Мы уместились на лавочке и принялись пить из тяжелых оловянных кружек довольно холодное пиво. Ася продолжала сидеть неподвижно, подобрав под себя ноги и закутав голову кисейным шарфом; стройный облик ее отчетливо и красиво рисовался на ясном небе; но я с неприязненным чувством поглядывал на нее. Уже накануне заметил я в ней что-то напряженное, не совсем естественное... «Она хочет удивить нас, — думал я, — к чему это? Что за детская выходка?» Словно угадавши мои мысли, она вдруг бросила на меня быстрый и пронзительный взгляд, засмеялась опять, в два прыжка соскочила со стены и, подойдя к старушке, попросила у ней стакан воды.

— Ты думаешь, я хочу пить? — промолвила она, обратившись к брату, — нет; тут есть цветы на стенах, которые непременно полить надо.

Гагин ничего не отвечал ей; а она, с стаканом в руке, пустилась карабкаться по развалинам, изредка останавливаясь, наклоняясь и с забавной важностью роняя несколько капель воды, ярко блеснувших на солнце. Ее движения были очень милы, но мне по-прежнему было досадно на нее, хотя я невольно любовался ее легкостью и ловкостью. На одном опасном месте она нарочно вскрикнула и потом захохотала... Мне стало еще досаднее.

— Да она как коза лазит, — пробормотала себе под нос старушка, оторвавшись на мгновение от своего чулка.

Наконец, Ася опорожнила весь свой стакан и, шаловливо покачиваясь, возвратилась к нам. Странная усмешка слегка подергивала ее брови, ноздри и губы; полудерзко, полувесело щурились темные глаза.

«Вы находите мое поведение неприличным, – казалось, говорило ее лицо, – все равно: я знаю, вы мной любуетесь».

– Искусно, Ася, искусно, – промолвил Гагин вполголоса.

Она вдруг как будто застыдилась, опустила свои длинные ресницы и скромно под села к нам, как виноватая. Я тут в первый раз хорошенько рассмотрел ее лицо, самое изменчивое лицо, какое я только видел. Несколько мгновений спустя оно уже все побледнело и приняло сосредоточенное, почти печальное выражение; самые черты ее мне показались больше, строже, проще. Она вся затихла. Мы обошли развалину кругом (Ася шла за нами следом) и полюбовались видами. Между тем час обеда приближался. Расплачиваясь со старушкой, Гагин спросил еще кружку пива и, обернувшись ко мне, воскликнул с лукавой ужимкой:

– За здоровье дамы вашего сердца!

– А разве у него, – разве у вас есть такая дама? – спросила вдруг Ася.

– Да у кого же ее нет? – возразил Гагин.

Ася задумалась на мгновение; ее лицо опять изменилось, опять появилась на нем вызывающая, почти дерзкая усмешка.

На возвратном пути она пуще хохотала и шалила. Она сломала длинную ветку, положила ее к себе на плечо, как ружье, повязала себе голову шарфом. Помнится, нам встретилась многочисленная семья белокурых и чопорных англичан; все они, словно по команде, с холодным изумлением проводили Асю своими стеклянными глазами, а она, как бы им назло, громко запела. Воротясь домой, она тотчас ушла к себе в комнату и появилась только к самому обеду, одетая в лучшее свое платье, тщательно причесанная, перетянутая и в перчатках. За столом она держалась очень чинно, почти чопорно, едва отведывала кушанья и пила воду из рюмки. Ей явно хотелось разыграть передо мною новую роль – роль приличной и благовоспитанной барышни. Гагин не мешал ей: заметно было, что он привык потакать ей во всем. Он только по временам добродушно взглядывал на меня и слегка пожимал плечом, как бы желая сказать: «Она ребенок; будьте снисходительны». Как только кончился обед, Ася встала, сделала нам книксен^[9] и, надевая шляпу, спросила Гагина: можно ли ей пойти к фрау Луизе?

– Давно ли ты стала спрашиваться? – отвечал он с своей неизменной, на этот раз несколько смущенной улыбкой, – разве тебе скучно с нами?

– Нет, но я вчера еще обещала фрау Луизе побывать у ней; притом же я думала, вам будет лучше вдвоем: господин Н. (она указала на меня) что-нибудь еще тебе расскажет.

Она ушла.

– Фрау Луизе, – начал Гагин, стараясь избегать моего взора, – вдова бывшего здешнего бургомистра,[10] добрая, впрочем пустая старушка. Она очень полюбила Асю. У Аси страсть знакомиться с людьми круга низшего; я заметил: причиною этому всегда бывает гордость. Она у меня порядком избалована, как видите, – прибавил он, помолчав немного, – да что прикажете делать? Взыскивать я ни с кого не умею, а с нее и подавно. Я обязан быть снисходительным с нею.

Я промолчал. Гагин переменял разговор. Чем больше я узнавал его, тем сильнее я к нему привязывался. Я скоро его понял. Это была прямо русская душа, правдивая, честная, простая, но, к сожалению, немного вялая, без цепкости и внутреннего жара. Молодость не кипела в нем ключом; она светила тихим светом. Он был очень мил и умен, но я не мог себе представить, что с ним станет, как только он возмужает. Быть художником... Без горького, постоянного труда не бывает художников... а трудиться, думал я, глядя на его мягкие черты, слушая его неспешную речь, – нет! трудиться ты не будешь, сжаться ты не сумеешь. Но не полюбить его не было возможности: сердце так и влеклось к нему. Часа четыре провели мы вдвоем, то сидя на диване, то медленно расхаживая перед домом; и в эти четыре часа сошлись окончательно.

Солнце село, и мне уже пора было идти домой. Ася все еще не возвращалась.

– Экая она у меня вольница! – промолвил Гагин. – Хотите, я пойду провожать вас? Мы по пути завернем к фрау Луизе; я спрошу, там ли она? Крюк не велик.

Мы спустились в город и, свернув в узкий, кривой переулочек, остановились перед домом в два окна шириною и вышиною в четыре этажа. Второй этаж выступал на улицу больше первого, третий и четвертый еще больше второго; весь дом с своей ветхой резьбой, двумя толстыми столбами внизу, острой черепичной кровлей и протянутым в виде клюва воротом на чердаке казался огромной, сгорбленной птицей.

– Ася! – крикнул Гагин, – ты здесь?

Освещенное окошко в третьем этаже стукнуло и отворилось, и мы увидели темную головку Аси. Из-за нее выглядывало беззубое и подслеповатое лицо старой немки.

– Я здесь, – проговорила Ася, кокетливо опершись локтями на оконницу, – мне здесь хорошо. На тебе, возьми, – прибавила она, бросая Гагину ветку гераниума, – вообрази, что я дама твоего сердца.

Фрау Луизе засмеялась.

– Н. уходит, – возразил Гагин, – он хочет с тобой проститься.

– Будто? – промолвила Ася, – в таком случае дай ему мою ветку, а я сейчас вернусь.

Она захлопнула окно и, кажется, поцеловала фрау Луизе. Гагин протянул мне молча ветку. Я молча положил ее в карман, дошел до перевоза и перебрался на другую сторону.

Помнится, я шел домой, ни о чем не размышляя, но с странной тяжестью на сердце, как вдруг меня поразил сильный, знакомый, но в Германии редкий запах. Я остановился и увидел возле дороги небольшую грядку конопли. Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Мне захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле. «Что я здесь делаю, зачем таскаюсь я в чужой стороне, между чужими?» – воскликнул я, и мертвенная тяжесть, которую я ощущал на сердце, разрешилась внезапно в горькое и жгучее волнение. Я пришел домой совсем в другом настроении духа, чем накануне. Я чувствовал себя почти рассерженным и долго не мог успокоиться. Непонятная мне самому досада меня разбирала. Наконец, я сел и, вспомнив о своей коварной вдове (официальным воспоминанием об этой даме заключался каждый мой день), достал одну из ее записок. Но я даже не раскрыл ее; мысли мои тотчас приняли иное направление. Я начал думать... думать об Асе. Мне пришло в голову, что Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затруднения, препятствующие его возвращению в Россию... «Полно, сестра ли она его?» – произнес я громко.

Я разделся, лег и старался заснуть; но час спустя я опять сидел в постели, облокотившись локтем на подушку, и снова думал об этой «капризной девочке с натянутым смехом...» «Она сложена, как маленькая рафаэлевская Галатея в Фарнезине,[11] – шептал я, – да; и она ему не сестра...»

А записка вдовы преспокойно лежала на полу, белея в лучах луны.

V

На следующее утро я опять пошел в Л. Я уверял себя, что мне хочется повидаться с Гагиным, но втайне меня тянуло посмотреть, что станет делать Ася, так же ли она будет «чудить», как накануне. Я застал обоих в гостинной, и, странное дело! – оттого ли, что я ночью и утром много размышлял о России, – Ася показалась мне совершенно русской девушкой, да, простою девушкой, чуть не горничной. На ней было старенькое платьице, волосы она зачесала за уши и сидела, не шевелясь, у окна да шила в пальцах, скромно, тихо, точно она век свой ничем другим не занималась. Она почти ничего не говорила, спокойно посматривала на свою работу, и черты ее приняли такое незначительное, будничное выражение, что мне невольно вспомнились наши доморощенные Кати и Маши. Для довершения сходства она принялась напевать вполголоса «Матушку, голубушку». Я глядел на ее желтоватое, угасшее личико, вспоминал о вчерашних мечтаниях, и жаль мне было чего-то. Погода была чудесная. Гагин объявил нам, что пойдет сегодня рисовать этюд с натуры; я спросил его, позволит ли он мне провожать его, не помешаю ли я ему?

– Напротив, – возразил он, – вы мне можете хороший совет дать.

Он надел круглую шляпу a la Van Dyck,[12] блузу, взял картон под мышку и отправился; я поплелся вслед за ним. Ася осталась дома. Гагин, уходя, просил ее позаботиться о том, чтобы суп был не слишком жидок. Ася обещалась побывать на кухне. Гагин добрался до знакомой уже мне долины, присел на камень и начал срисовывать старый дуплистый дуб с раскидистыми сучьями. Я лег на траву и достал книжку; но я и двух страниц не прочел, а он только бумагу измарал; мы все больше рассуждали и, сколько я могу судить, довольно умно и тонко рассуждали о том, как именно должно работать, чего следует избегать, чего придерживаться и какое собственно значение художника в наш век. Гагин, наконец, решил, что он «сегодня не в ударе», лег рядом со мною, и уж тут свободно потекли молодые наши речи, то горячие, то задумчивые, то восторженные, но почти всегда неясные речи, в которых так охотно разливается русский человек. Наболтавшись досыта и наполнившись чувством удовлетворения, словно мы что-то сделали, успели в чем-то, вернулись мы домой. Я нашел Асю точно такую же, какую я ее оставил; как я ни старался наблюдать за нею –

ни тени кокетства, ни признака намеренно принятой роли я в ней не заметил; на этот раз не было возможности упрекнуть ее в неестественности.

– А-га! – говорил Гагин, – пост и покаяние на себя наложила.

К вечеру она несколько раз непритворно зевнула и рано ушла к себе. Я сам скоро простился с Гагиным и, возвратившись домой, не мечтал уже ни о чем: этот день прошел в трезвых ощущениях. Помнится, однако, ложась спать, я невольно промолвил вслух:

– Что за хамелеон эта девушка! – и, подумав немного, прибавил: – А все-таки она ему не сестра.

VI

Прошли целые две недели. Я каждый день посещал Гагиных. Ася словно избегала меня, но уже не позволяла себе ни одной из тех шалостей, которые так удивили меня в первые два дня нашего знакомства. Она казалась втайне огорченной или смущенной; она и смеялась меньше. Я с любопытством наблюдал за ней.

Она довольно хорошо говорила по-французски и по-немецки; но по всему было заметно, что она с детства не была в женских руках и воспитание получила странное, необычное, не имевшее ничего общего с воспитанием самого Гагина. От него, несмотря на его шляпу а la Van Dyck и блузу, так и веяло мягким, полуизнеженным, великорусским дворянином, а она не походила на барышню; во всех ее движениях было что-то беспокойное: этот дичок недавно был привит, это вино еще бродило. По природе стыдливая и робкая, она досадовала на свою застенчивость и с досады насильственно старалась быть развязной и смелой, что ей не всегда удавалось. Я несколько раз заговаривал с ней об ее жизни в России, об ее прошедшем: она неохотно отвечала на мои расспросы; я узнал, однако, что до отъезда за границу она долго жила в деревне. Я застал ее раз за книгой, одну. Опершись головой на обе руки и запустив пальцы глубоко в волосы, она пожирала глазами строки.

– Bravo! – сказал я, подойдя к ней, – как вы прилежны!

Она приподняла голову, важно и строго посмотрела на меня.

– Вы думаете, я только смеяться умею, – промолвила она и хотела удалиться...

Я взглянул на заглавие книги: это был какой-то французский роман.

– Однако я ваш выбор похвалить не могу, – заметил я.

– Что же читать! – воскликнула она и, бросив книгу на стол, прибавила: – Так лучше пойду дурачиться, – и побежала в сад.

В тот же день, вечером, я читал Гагину «Германа и Доротею». Ася сперва все только шныряла мимо нас, потом вдруг остановилась, прикинула ухом, тихонько подсела ко мне и прослушала чтение до конца. На следующий день я опять не узнал ее, пока не догадался, что ей вдруг вошло в голову: быть домовитой и степенной, как Доротея. Словом, она являлась мне полузагадочным существом. Самолюбивая до крайности, она привлекала меня, даже когда я сердился на нее. В одном только я более и более убеждался, а именно в том, что она не сестра Гагина. Он обходился с нею не по-братски: слишком ласково, слишком снисходительно и в то же время несколько принужденно.

Странный случай, по-видимому, подтвердил мои подозрения.

Однажды вечером, подходя к винограднику, где жили Гагины, я нашел калитку запертой. Недолго думавши добрался я до одного обрушенного места в ограде, уже прежде замеченного мною, и перескочил через нее. Недалеко от этого места, в стороне от дорожки, находилась небольшая беседка из акаций; я поравнялся с нею и уже прошел было мимо... вдруг меня поразил голос Аси, с жаром и сквозь слезы произносивший следующие слова:

– Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя, нет, нет, одного тебя я хочу любить – и навсегда.

– Полно, Ася, успокойся, – говорил Гагин, – ты знаешь, я тебе верю.

Голоса их раздавались в беседке. Я увидел их обоих сквозь негустой переплет ветвей. Они меня не заметили.

– Тебя, тебя одного, – повторила она, бросилась ему на шею и с судорожными рыданиями начала целовать его и прижиматься к его груди.

– Полно, полно, – твердил он, слегка проводя рукой по ее волосам.

Несколько мгновений остался я неподвижным... Вдруг я встрепенулся. «Подойти к ним?.. Ни за что!» – сверкнуло у меня в голове. Быстрыми шагами вернулся я к ограде, перескочил через нее на дорогу и чуть не бегом пустился домой. Я улыбался, потирал руки, удивлялся случаю, внезапно подтвердившему мои догадки (я ни на одно мгновение не усомнился в их справедливости), а между тем на сердце у меня было очень горько. «Однако, – думал я, – умеют же они притворяться! Но к чему? Что за охота меня морочить? Не ожидал я этого от него... И что за чувствительное объяснение?»

VII

Я спал дурно и на другое утро встал рано, привязал походную котомочку за спину и, объявив своей хозяйке, чтобы она не ждала меня к ночи, отправился пешком в горы, вверх по течению реки, на которой лежит городок З. Эти горы, отрасли хребта, называемого Собачьей спиной (Hundsrück), очень любопытны в геологическом отношении; в особенности замечательны они правильностью и чистотой базальтовых слоев; но мне было не до геологических наблюдений. Я не отдавал себе отчета в том, что во мне происходило; одно чувство было мне ясно: нежелание видаться с Гагиными. Я уверял себя, что единственной причиной моего внезапного нерасположения к ним была досада на их лукавство. Кто их принуждал выдавать себя за

родственников? Впрочем, я старался о них не думать; бродил не спеша по горам и долинам, засиживался в деревенских харчевнях, мирно беседуя с хозяевами и гостями, или ложился на плоский согретый камень и смотрел, как плыли облака, благо погода стояла удивительная. В таких занятиях я провел три дня, и не без удовольствия, – хотя на сердце у меня щемило по временам. Настроение моих мыслей приходилось как раз под стать спокойной природе того края.

Я отдал себя всего тихой игре случайности, набегавшим впечатлениям: неторопливо сменяясь, протекали они по душе и оставили в ней, наконец, одно общее чувство, в котором слилось все, что я видел, ощутил, слышал в эти три дня, – все: тонкий запах смолы по лесам, крик и стук дятлов, немолчная болтовня светлых ручейков с пестрыми форелями на песчаном дне, не слишком смелые очертания гор, хмурые скалы, чистенькие деревеньки с почтенными старыми церквями и деревьями, аисты в лугах, уютные мельницы с проворно вертящимися колесами, радушные лица поселян, их синие камзолы и серые чулки, скрипучие, медлительные возы, запряженные жирными лошадьми, а иногда коровами, молодые длинноволосые странники по чистым дорогам, обсаженным яблонями и грушами...

Даже и теперь мне приятно вспоминать мои тогдашние впечатления. Привет тебе, скромный уголок германской земли, с твоим незатейливым довольством, с повсеместными следами прилежных рук, терпеливой, хотя неспешной работы... Привет тебе и мир!

Я пришел домой к самому концу третьего дня. Я забыл сказать, что с досады на Гагиных я попытался воскресить в себе образ жестокосердой вдовы; но мои усилия остались тщетны. Помнится, когда я принялся мечтать о ней, я увидел перед собою крестьянскую девочку лет пяти, с круглым личиком, с невинно выпученными глазенками. Она так детски-простодушно смотрела на меня... Мне стало стыдно ее чистого взора, я не хотел лгать в ее присутствии и тотчас же окончательно и навсегда раскланялся с моим прежним предметом.

Дома я нашел записку от Гагина. Он удивлялся неожиданности моего решения, пенял мне, зачем я не взял его с собою, и просил прийти к ним, как только я вернусь. Я с неудовольствием прочел эту записку, но на другой же день отправился в Л.

VIII

Гагин встретил меня по-приятельски, осыпал меня ласковыми упреками; но Ася, точно нарочно, как только увидала меня, расхохоталась без всякого повода и, по своей привычке, тотчас убежала. Гагин смутился, пробормотал ей вслед, что она сумасшедшая, попросил меня извинить ее. Признаюсь, мне стало очень досадно на Асю; уж и без того мне было не по себе, а тут опять этот неестественный смех, эти странные ужимки. Я, однако, показал вид, будто ничего не заметил, и сообщил Гагину подробности моего небольшого путешествия. Он рассказал мне, что делал в мое отсутствие. Но речи наши не клеились; Ася входила в комнатку и убегала снова; я объявил, наконец, что у меня есть спешная работа и что мне пора вернуться домой. Гагин сперва меня удерживал, потом, посмотрев на меня пристально, вызвался провожать меня. В передней Ася вдруг подошла ко мне и протянула мне руку; я слегка пожал ее пальцы и едва поклонился ей. Мы вместе с Гагиным переправились через Рейн и, проходя мимо любимого моего ясеня с статушкой мадонны, присели на скамью, чтобы полюбоваться видом. Замечательный разговор произошел тут между нами.

Сперва мы перекинулись немногими словами, потом замолкли, глядя на светлую реку.

– Скажите, – начал вдруг Гагин, с своей обычной улыбкой, – какого вы мнения об Асе? Не правда ли, она должна казаться вам немного странной?

– Да, – ответил я не без некоторого недоумения. Я не ожидал, что он заговорит о ней.

– Ее надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить, – промолвил он, – у ней сердце очень доброе, но голова бедовая. Трудно с нею ладить. Впрочем, ее нельзя винить, и если б вы знали ее историю...

– Ее историю?.. – перебил я, – разве она не ваша...

Гагин взглянул на меня.

– Уж не думаете ли вы, что она не сестра мне?.. Нет, – продолжал он, не обращая внимания на мое замешательство, – она точно мне сестра, она дочь моего отца. Выслушайте меня. Я чувствую к вам доверие и расскажу вам все.

Отец мой был человек весьма добрый, умный, образованный – и несчастливый. Судьба обошлась с ним не хуже, чем со многими другими; но он и первого удара ее не вынес. Он женился рано, по любви; жена его, моя мать, умерла очень скоро; я остался после нее шести месяцев. Отец увез меня в деревню и целые двенадцать лет не выезжал никуда. Он сам занимался моим воспитанием и никогда бы со мной не расстался, если б брат его, мой родной дядя, не заехал к нам в деревню. Дядя этот жил постоянно в Петербурге и занимал довольно важное место. Он уговорил отца отдать меня к нему на руки, так как отец ни за что не соглашался покинуть деревню. Дядя представил ему, что мальчику моих лет вредно жить в совершенном уединении, что с таким вечно унылым и молчаливым наставником, каков был мой отец, я непременно отстану от моих сверстников, да и самый нрав мой легко может испортиться. Отец долго противился увещаниям своего брата, однако уступил, наконец. Я плакал, расставаясь с отцом; я любил его, хотя никогда не видал улыбки на лице его... но, попавши в Петербург, скоро позабыл наше темное и невеселое гнездо. Я поступил в юнкерскую школу, а из школы перешел в гвардейский полк. Каждый год приезжал я в деревню на несколько недель и с каждым годом находил отца моего все более и более грустным, в себя углубленным, задумчивым до робости. Он каждый день ходил в церковь и почти разучился говорить. В одно из моих посещений (мне уже было лет двадцать с лишком) я в первый раз увидел у нас в доме худенькую черноглазую девочку лет десяти – Асю. Отец сказал, что она сирота и взята им на прокормление – он именно так выразился. Я не обратил особенного внимания на нее; она была дика, проворна и молчалива, как зверек, и как только я входил в любимую комнату моего отца, огромную и мрачную комнату, где скончалась моя мать и где даже днем зажигались свечи, она тотчас пряталась за вольтеровское кресло его или за шкаф с книгами. Случилось так, что в последовавшие за тем три, четыре года обязанности службы помешали мне побывать в деревне. Я получал от отца ежемесячно по короткому письму; об Асе он упоминал редко, и то вскользь. Ему было уже за пятьдесят лет, но он казался еще молодым человеком. Представьте же мой ужас: вдруг я, ничего не подозревавший, получаю от приказчика письмо, в котором он извещает меня о смертельной болезни моего отца и умоляет приехать как можно скорее, если хочу проститься с ним. Я поскакал сломя голову и застал отца в живых, но уже при последнем издыхании. Он обрадовался мне чрезвычайно, обнял меня своими исхудалыми руками, долго поглядел мне в глаза каким-то не то испытующим, не то умоляющим взором и, взяв с меня слово, что я исполню его последнюю просьбу, велел своему старому камердинеру привести Асю. Старик привел ее: она едва держалась на ногах и дрожала всем телом.

– Вот, – сказал мне с усилием отец, – завещаю тебе мою дочь – твою сестру. Ты все узнаешь от Якова, – прибавил он, указав на камердинера.

Ася зарыдала и упала лицом на кровать... Полчаса спустя мой отец скончался.

Вот что я узнал. Ася была дочь моего отца и бывшей горничной моей матери, Татьяны. Живо помню я эту Татьяну, помню ее высокую стройную фигуру, ее благообразное, строгое, умное лицо, с большими темными глазами. Она слыла девушкой гордой и неприступной. Сколько я мог понять из почтительных недомолвок Якова, отец мой сошелся с нею несколько лет спустя после смерти матушки. Татьяна уже не жила тогда в господском доме, а в избе у замужней сестры своей, скотницы. Отец мой сильно к ней привязался и после моего отъезда из деревни хотел даже жениться на ней, но она сама не согласилась быть его женой, несмотря на его просьбы.

– Покойница Татьяна Васильевна, – так докладывал мне Яков, стоя у двери с закинутыми назад руками, – во всем были рассудительны и не захотели батюшку вашего обидеть. Что, мол, я вам за жена? какая я барыня? так они говорить изволили, при мне говорили-с.

Татьяна даже не хотела переселиться к нам в дом и продолжала жить у своей сестры, вместе с Асей. В детстве я видывал Татьяну только по праздникам, в церкви. Повязанная темным платком, с желтой шалью на плечах, она становилась в толпе, возле окна, – ее строгий профиль четко вырезывался на прозрачном стекле, – и смиренно и важно молилась, кланяясь низко, по-старинному. Когда дядя увез меня, Асе было всего два года, а на девятом году она лишилась матери.

Как только Татьяна умерла, отец взял Асю к себе в дом. Он и прежде изъявил желание иметь ее при себе, но Татьяна ему и в этом отказала. Представьте же себе, что должно было произойти в Асе, когда ее взяли к барину. Она до сих пор не может забыть ту минуту, когда ей в первый раз надели шелковое платье и поцеловали у ней ручку. Мать, пока была жива, держала ее очень строго; у отца она пользовалась совершенной свободой. Он был ее учителем; кроме его, она никого не видала. Он не баловал ее, то есть не нянчился с нею; но он любил ее страстно и никогда ничего ей не запрещал: он в душе считал себя перед ней виноватым. Ася скоро поняла, что она главное лицо в доме, она знала, что барин ее отец; но она так же скоро поняла свое ложное положение; самолюбие развилось в ней сильно, недоверчивость тоже; дурные привычки укоренялись, простота исчезла. Она хотела (она сама мне раз призналась в этом) заставить целый мир забыть ее происхождение; она и стыдилась своей матери, и стыдилась своего стыда, и гордилась ею. Вы видите, что она многое знала и знает, чего не должно бы знать в ее годы... Но разве она виновата? Молодые силы разыгрывались в ней, кровь кипела, а вблизи ни одной руки, которая бы ее направила. Полная независимость во всем! да разве легко ее вынести? Она хотела быть не хуже других барышень; она бросилась на книги. Что тут могло выйти путного? Неправильно начатая жизнь слагалась неправильно, но сердце в ней не испортилось, ум уцелел.

И вот я, двадцатилетний малый, очутился с тринадцатилетней девочкой на руках! В первые дни после смерти отца, при одном звуке моего голоса, ее била лихорадка, ласки мои повергали ее в тоску, и только понемногу, исподволь, привыкла она ко мне. Правда, потом, когда она убедилась, что я точно признаю ее за сестру и полюбил ее, как сестру, она страстно ко мне привязалась: у ней ни одно чувство не бывает вполнину.

Я привез ее в Петербург. Как мне ни больно было с ней расстаться, – жить с ней вместе я никак не мог; я поместил ее в один из лучших пансионеров. Ася поняла необходимость нашей разлуки, но начала с того, что заболела и чуть не умерла. Потом она обтерпелась и выжила в пансионе четыре года; но, против моих ожиданий, осталась почти такою же, какою была прежде. Начальница пансиона часто жаловалась мне на нее. «И наказать ее нельзя, – говаривала она мне, – и на ласку она не поддается». Ася была чрезвычайно понятлива, училась прекрасно, лучше всех; но никак не хотела подойти под общий уровень, упрямилась, глядела букой... Я не мог слишком винить ее: в ее положении ей надо было либо прислуживаться, либо дичиться. Из всех своих подружек она сошлась только с одной, некрасивой, загнанной и бедной девушкой. Остальные барышни, с которыми она воспитывалась, большей частью из хороших фамилий, не любили ее, язвили ее и кололи, как только могли; Ася им на волос не уступала. Однажды на уроке из закона божия преподаватель заговорил о пороках. «Лесть и трусость – самые дурные пороки», – громко промолвила Ася. Словом, она продолжала идти своей дорогой; только манеры ее стали лучше, хотя и в этом отношении она, кажется, не много успела.

Наконец, ей минуло семнадцать лет; оставаться ей далее в пансионе было невозможно. Я находился в довольно большом затруднении. Вдруг мне пришла благая мысль: выйти в отставку, поехать за границу на год или на два и взять Асю с собою. Задумано – сделано; и вот мы с ней на берегах Рейна, где я стараюсь заниматься живописью, а она... шалит и чудит по-прежнему. Но теперь я надеюсь, что вы не станете судить ее слишком строго; а она хоть и притворяется, что ей все нипочем, – мнением каждого дорожит, вашим же в особенности.

И Гагин опять улыбнулся своей тихой улыбкой. Я крепко стиснул ему руку.

– Все так, – заговорил опять Гагин, – но с нею мне беда. Порох она настоящий. До сих пор ей никто не нравился, но беда, если она кого полюбит! Я иногда не знаю, как с ней быть. На днях она что вздумала: начала вдруг уверять меня, что я к ней стал холоднее прежнего и что она одного меня любит и век будет меня одного любить... И при этом так расплакалась...

– Так вот что... – промолвил было я и прикусил язык. – А скажите-ка мне, – спросил я Гагина: дело между нами пошло на откровенность, – неужели в самом деле ей до сих пор никто не нравился? В Петербурге видала же она молодых людей?

– Они-то ей и не нравились вовсе. Нет, Асе нужен герой, необыкновенный человек – или живописный пастух в горном ущелье. А впрочем, я заболтался с вами, задержал вас, – прибавил он, вставая.

– Послушайте, – начал я, – пойдемте к вам, мне домой не хочется.

– А работа ваша?

Я ничего не отвечал; Гагин добродушно усмехнулся, и мы вернулись в Л. Увидев знакомый виноградник и белый домик на верху горы, я почувствовал какую-то сладость – именно сладость на сердце: точно мне втихомолку меду туда налили. Мне стало легко после гагинского рассказа.

Ася встретила нас на самом пороге дома; я снова ожидал смеха; но она вышла к нам вся бледная, молчаливая, с потупленными глазами.

– Вот он опять, – заговорил Гагин, – и, заметь, сам захотел вернуться.

Ася вопросительно посмотрела на меня. Я, в свою очередь, протянул ей руку и на этот раз крепко пожал ее холодные пальчики. Мне стало очень жаль ее; теперь я многое понимал в ней, что прежде сбивало меня с толку: ее внутреннее беспокойство, неумение держать себя, желание порисоваться – все мне стало ясно. Я заглянул в эту душу: тайный гнет давил ее постоянно, тревожно путалось и билось неопытное самолюбие, но все существо ее стремилось к правде. Я понял, почему эта странная девочка меня привлекала: не одной только полудикой прелестью, разлитой по всему ее тонкому телу, привлекала она меня: ее душа мне нравилась.

Гагин начал копаться в своих рисунках; я предложил Асе погулять со мною по винограднику. Она тотчас согласилась, с веселой и почти покорной готовностью. Мы спустились до половины горы и присели на широкую плиту.

– И вам не скучно было без нас? – начала Ася.

– А вам без меня было скучно? – спросил я. Ася взглянула на меня сбоку.

– Да, – отвечала она. – Хорошо в горах? – продолжала она тотчас, – они высоки? Выше облаков? Расскажите мне, что вы видели. Вы рассказывали брату, но я ничего не слыхала.

– Вольно ж вам было уходить, – заметил я.

– Я уходила... потому что... Я теперь вот не уйду, – прибавила она с доверчивой лаской в голосе, – вы сегодня были сердиты.

– Я?

– Вы.

– Отчего же, помилуйте...

– Не знаю, но вы были сердиты и ушли сердитыми. Мне было очень досадно, что вы так ушли, и я рада, что вы вернулись.

– И я рад, что вернулся, – промолвил я. Ася повела плечами, как это часто делают дети, когда им хорошо.

– О, я умею отгадывать! – продолжала она, – бывало, я по одному папашину кашлю из другой комнаты узнавала, доволен ли он мной или нет.

До того дня Ася ни разу не говорила мне о своем отце. Меня это поразило.

– Вы любили вашего батюшку? – проговорил я и вдруг, к великой моей досаде, почувствовал, что краснею.

Она ничего не отвечала и покраснела тоже. Мы оба замолкли. Вдали по Рейну бежал и дымился пароход. Мы принялись глядеть на него.

– Что же вы не рассказываете? – прошептала Ася.

– Отчего вы сегодня рассмеялись, как только увидели меня? – спросил я.

– Сама не знаю. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня... по тому, что я делаю. Ах, кстати, что это за сказка о Лорелее?[13] Ведь это ее скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду. Мне нравится эта сказка. Фрау Луизе мне всякие сказки рассказывает. У фрау Луизе есть черный кот с желтыми глазами...

Ася подняла голову и встряхнула кудрями.

– Ах, мне хорошо, – проговорила она.

В это мгновение долетели до нас отрывочные, однообразные звуки. Сотни голосов разом и с мерными расстановками повторяли молитвенный напев: толпа богомольцев тянулась вниз по дороге с крестами и хоругвями...

– Вот бы пойти с ними, – сказала Ася, прислушиваясь к постепенно ослабевавшим взрывам голосов.

– Разве вы так набожны?

– Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг, – продолжала она. – А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали?

– Вы честолобивы, – заметил я, – вы хотите прожить не даром, след за собой оставить...

– А разве это невозможно?

«Невозможно», – чуть было не повторил я... Но я взглянул в ее светлые глаза и только промолвил:

– Попробуйте.

– Скажите, – заговорила Ася после небольшого молчания, в течение которого какие-то тени пробежали у ней по лицу, уже успевшему побледнеть, – вам очень нравилась та дама... Вы помните, брат пил ее здоровье в развалине, на второй день нашего знакомства?

Я засмеялся.

– Ваш брат шутил; мне ни одна дама не нравилась; по крайней мере теперь ни одна не нравится.

– А что вам нравится в женщинах? – спросила Ася, закинув голову, с невинным любопытством.

– Какой странный вопрос! – воскликнул я.

Ася слегка смутилась.

– Я не должна была сделать вам такой вопрос, не правда ли? Извините меня, я привыкла болтать все, что мне в голову входит. Оттого-то я и боюсь говорить.

– Говорите ради Бога, не бойтесь, – подхватил я, – я так рад, что вы, наконец, перестаете дичиться.

Ася потупилась и засмеялась тихим и легким смехом; я не знал за ней такого смеха.

– Ну, рассказывайте же, – продолжала она, разглаживая полы своего платья и укладывая их себе на ноги, точно она усаживалась надолго, – рассказывайте или прочтите что-нибудь, как, помните, вы нам читали из «Онегина»...

Она вдруг задумалась...

Где нынче крест и тень ветвей

Над бедной матерью моей! –

проговорила она вполголоса.

– У Пушкина не так, – заметил я.

– А я хотела бы быть Татьяной, – продолжала она все так же задумчиво. – Рассказывайте, – подхватила она с живостью.

Но мне было не до рассказов. Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом, всю успокоенную и кроткую. Все радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами – небо, земля и воды; самый воздух, казалось, был насыщен блеском.

– Посмотрите, как хорошо! – сказал я, невольно понизив голос.

– Да, хорошо! – так же тихо отвечала она, не смотря на меня. – Если б мы с вами были птицы, – как бы мы взвились, как бы полетели... Так бы и утонули в этой синеве... Но мы не птицы.

– А крылья могут у нас вырасти, – возразил я.

– Как так?

– Поживите – узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья.

– А у вас были?

– Как вам сказать... Кажется, до сих пор я еще не летал.

Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней.

– Умеете вы вальсировать? – спросила она вдруг.

– Умею, – отвечал я, несколько озадаченный.

– Так пойдемте, пойдемте... Я попрошу брата сыграть нам вальс... Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья.

Она побежала к дому. Я побежал вслед за нею – и несколько мгновений спустя мы кружились в тесной комнате, под сладкие звуки Ланнера. Ася вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то мягкое, женское проступило вдруг сквозь ее девически-строгий облик. Долго потом рука моя чувствовала прикосновение ее нежного стана, долго слышалось мне ее ускоренное, близкое дыхание, долго мерещились мне темные, неподвижные, почти закрытые глаза на бледном, но оживленном лице, резво обвеянном кудрями.

X

Весь этот день прошел как нельзя лучше. Мы веселились, как дети. Ася была очень мила и проста. Гагин радовался, глядя на нее. Я ушел поздно. Въехавши на средину Рейна, я попросил перевозчика пустить лодку вниз по течению. Старик поднял весла – и царственная река понесла нас. Глядя кругом, слушая, вспоминая, я вдруг почувствовал тайное беспокойство на сердце... поднял глаза к небу – но и в небе не было покоя: испещренное звездами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось; я склонился к реке... но и там, и в этой темной, холодной глубине, тоже колыхались, дрожали звезды; тревожное оживление мне чудилось повсюду – и тревога росла во мне самом. Я облокотился на край лодки... Шепот ветра в моих ушах, тихое журчанье воды за кормом меня раздражали, и свежее дыхание волны не охлаждало меня; соловей запел на берегу и заразил меня сладким ядом своих звуков. Слезы закипали у меня на глазах, но то не были слезы беспредметного восторга. Что я чувствовал, было не то смутное, еще недавно испытанное ощущение всеобъемлющих желаний, когда душа ширится, звучит, когда ей кажется, что она все понимает и все любит... Нет! во мне зажглась жажда счастья. Я еще не смел назвать его по имени, – но счастья, счастья до пресыщения – вот чего хотел я, вот о чем томился... А лодка все неслась, и старик перевозчик сидел и дремал, наклонясь над веслами.

XI

Отправляясь на следующий день к Гагиным, я не спрашивал себя, влюблен ли я в Асю, но я много размышлял о ней, ее судьба меня занимала, я радовался неожиданному нашему сближению. Я чувствовал, что только с вчерашнего дня я узнал ее; до тех пор она отворачивалась от меня. И вот, когда она раскрылась, наконец, передо мною, каким пленительным светом озарился ее образ, как он был нов для меня, какие тайные обаяния стыдливо в нем сквозили...

Бодро шел я по знакомой дороге, беспрестанно посматривая на издали белевший домик; я не только о будущем – я о завтрашнем дне не думал; мне было очень хорошо.

Ася покраснела, когда я вошел в комнату; я заметил, что она опять принарядилась, но выражение ее лица не шло к ее наряду: оно было печально. А я пришел таким веселым! Мне показалось даже, что она, по обыкновению своему, собралась было бежать, но сделала усилие над собою – и осталась. Гагин находился в том особенном состоянии художнического жара и ярости, которое, в виде припадков, внезапно овладевает дилетантами, когда они вообразят, что им удалось, как они выражаются, «поймать природу за хвост». Он стоял, весь взъерошенный и выпачканный красками, перед натянутым холстом и, широко размахивая по нем кистью, почти свирепо кивнул мне головой, отодвинулся, прищурил глаза и снова накиннулся на свою картину. Я не стал мешать ему и подсел к Асе. Медленно обратились ко мне ее темные глаза.

– Вы сегодня не такая, как вчера, – заметил я после тщетных усилий вызвать улыбку на ее губы.

– Нет, не такая, – возразила она неторопливым и глухим голосом. – Но это ничего. Я нехорошо спала, всю ночь думала.

– О чем?

– Ах, я о многом думала. Это у меня привычка с детства: еще с того времени, когда я жила с матушкой...

Она с усилием выговорила это слово и потом еще раз повторила:

– Когда я жила с матушкой... я думала, отчего это никто не может знать, что с ним будет; а иногда и видишь беду – да спастись нельзя; и отчего никогда нельзя сказать всей правды?.. Потом я думала, что я ничего не знаю, что мне надобно учиться. Меня перевоспитать надо, я очень дурно воспитана. Я не умею играть на фортепьяно, не умею рисовать, я даже шью плохо. У меня нет никаких способностей, со мной, должно быть, очень скучно.

– Вы несправедливы к себе, – возразил я. – Вы много читали, вы образованны, и с вашим умом...

– А я умна? – спросила она с такой наивной любознательностью, что я невольно засмеялся; но она даже не улыбнулась. – Брат, я умна? – спросила она Гагина.

Он ничего не отвечал ей и продолжал трудиться, беспрестанно меняя кисти и высоко поднимая руку.

– Я сама не знаю иногда, что у меня в голове, – продолжала Ася с тем же задумчивым видом. – Я иногда самой себя боюсь, ей-богу. Ах, я хотела бы... Правда ли, что женщинам не следует читать много?

– Много не нужно, но...

– Скажите мне, что я должна читать? скажите, что я должна делать? Я все буду делать, что вы мне скажете, – прибавила она, с невинной доверчивостью обратясь ко мне.

Я не тотчас нашелся, что сказать ей.

– Ведь вам не будет скучно со мною?

– Помилуйте, – начал я.

– Ну, спасибо! – возразила Ася, – а я думала, что вам скучно будет.

И ее маленькая горячая ручка крепко стиснула мою.

– Н.! – вскрикнул в это мгновение Гагин, – не темен этот фон?

Я подошел к нему. Ася встала и удалилась.

XII

Она вернулась через час, остановилась в дверях и подозвала меня рукою.

– Послушайте, – сказала она, – если б я умерла, вам было бы жаль меня?

– Что у вас за мысли сегодня! – воскликнул я.

– Я воображаю, что я скоро умру; мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Умереть лучше, чем жить так... Ах! не глядите так на меня; я, право, не притворяюсь. А то я вас опять бояться буду.

– Разве вы меня боялись?

– Если я такая странная, я, право, не виновата, – возразила она. – Видите, я уж и смеяться не могу...

Она осталась печальной и озабоченной до самого вечера. Что-то происходило в ней, чего я не понимал. Ее взор часто останавливался на мне; сердце мое тихо сжималось под этим загадочным взором. Она казалась спокойною – а мне, глядя на нее, все хотелось сказать ей, чтобы она не волновалась. Я любовался ею, я находил трогательную прелесть в ее побледневших чертах, в ее нерешительных, замедленных движениях – а ей почему-то воображалось, что я не в духе.

– Послушайте, – сказала она мне незадолго до прощанья, – меня мучит мысль, что вы меня считаете легкомысленной... Вы вперед всегда верьте тому, что я вам говорить буду, только и вы будьте со мной откровенны: а я вам всегда буду говорить правду, даю вам честное слово...

Это «честное слово» опять заставило меня засмеяться.

– Ах, не смейтесь, – проговорила она с живостью, – а то я вам скажу сегодня то, что вы мне сказали вчера: «Зачем вы смеетесь?» – и, помолчав немного, она прибавила: – Помните, вы вчера говорили о крыльях?.. Крылья у меня выросли – да лететь некуда.

– Помилуйте, – промолвил я, – перед вами все пути открыты...

Ася посмотрела мне прямо и пристально в глаза.

– Вы сегодня дурного мнения обо мне, – сказала она, нахмурив брови.

– Я? дурного мнения? о вас!..

– Что это вы точно в воду опущенные, – перебил меня Гагин, – хотите, я, по-вчерашнему, сыграю вам вальс?

– Нет, нет, – возразила Ася и стиснула руки, – сегодня ни за что!

– Я тебя не принуждаю, успокойся...

– Ни за что, – повторила она бледнея.

* * *

«Неужели она меня любит?» – думал я, подходя к Рейну, быстро катившему темные волны.

XIII

«Неужели она меня любит?» – спрашивал я себя на другой день, только что проснувшись. Я не хотел заглядывать в самого себя. Я чувствовал, что ее образ, образ «девушки с натянутым смехом», втеснился мне в душу и что мне от него не скоро отделаться. Я пошел в Л. и остался там целый день, но Асю видел только мельком. Ей нездоровилось; у ней голова болела. Она сошла вниз, на минутку, с повязанным лбом, бледная, худенькая, с почти закрытыми глазами; слабо улыбнулась, сказала: «Это пройдет, это ничего, все пройдет, не правда ли?» – и ушла. Мне стало скучно и как-то грустно-пусто; я, однако, долго не хотел уходить и вернулся поздно, не увидав ее более.

Следующее утро прошло в каком-то полусне сознания. Я хотел приняться за работу – не мог; хотел ничего не делать и не думать... и это не удалось. Я бродил по городу; возвращался домой, выходил снова.

– Вы ли господин Н.? – раздался вдруг за мною детский голос. Я оглянулся; передо мною стоял мальчик. – Это вам от фрейлейн Annette, – прибавил он, подавая мне записку.

Я развернул ее – и узнал неправильный и быстрый почерк Аси. «Я непременно должна вас видеть, – писала мне она, – приходите сегодня в четыре часа к каменной часовне на дороге возле развалины. Я сделала сегодня большую неосторожность... Придите ради Бога, вы все узнаете... Скажите посланному: „да“».

– Будет ответ? – спросил меня мальчик.

– Скажи, что да, – отвечал я.

Мальчик убежал.

XIV

Я пришел к себе в комнату, сел и задумался. Сердце во мне сильно билось. Несколько раз перечел я записку Аси. Я посмотрел на часы: и двенадцати еще не было.

Дверь отворилась – вошел Гагин.

Лицо его было пасмурно. Он схватил меня за руку и крепко пожал ее. Он казался очень взволнованным.

– Что с вами? – спросил я. Гагин взял стул и сел против меня.

– Четвертого дня, – начал он с принужденной улыбкой и запинаясь, – я удивил вас своим рассказом; сегодня удивлю еще более. С другим я, вероятно, не решился бы... так прямо... Но вы благородный человек, вы мне друг, не так ли? Послушайте: моя сестра, Ася, в вас влюблена.

Я весь вздрогнул и приподнялся...

– Ваша сестра, говорите вы...

– Да, да, – перебил меня Гагин. – Я вам говорю, она сумасшедшая и меня с ума сведет. Но, к счастью, она не умеет лгать – и доверяет мне. Ах, что за душа у этой девочки... но она себя погубит, непременно.

– Да вы ошибаетесь, – начал я.

– Нет, не ошибаюсь. Вчера, вы знаете, она почти целый день пролежала, ничего не ела, впрочем не жаловалась... Она никогда не жалуется. Я не беспокоился, хотя к вечеру у ней сделался небольшой жар. Сегодня, в два часа ночи, меня разбудила наша хозяйка: «Ступайте, говорит, к вашей сестре: с ней что-то худо». Я побежал к Асе и нашел ее нераздетою, в лихорадке, в слезах; голова у ней горела, зубы стучали. «Что с тобой? – спросил я, – ты больна?» Она бросилась мне на шею и начала умолять меня увезти ее как можно

скорее, если я хочу, чтобы она осталась в живых... Я ничего не понимаю, стараюсь ее успокоить... Рыдания ее усиливаются... и вдруг сквозь эти рыдания услышал я... Ну, словом, я услышал, что она вас любит. Уверяю вас, мы с вами, благоразумные люди, и представить себе не можем, как она глубоко чувствует и с какой невероятной силой высказываются в ней эти чувства; это находит на нее так же неожиданно и так же неотразимо, как гроза. Вы очень милый человек, – продолжал Гагин, – но почему она вас так полюбила – этого я, признаюсь, не понимаю. Она говорит, что привязалась к вам с первого взгляда. Оттого она и плакала на днях, когда уверяла меня, что, кроме меня, никого любить не хочет. Она воображает, что вы ее презираете, что вы, вероятно, знаете, кто она; она спрашивала меня, не рассказал ли я вам ее историю, – я, разумеется, сказал, что нет; но чуткость ее – просто страшна. Она желает одного: уехать, уехать тотчас. Я просидел с ней до утра; она взяла с меня слово, что нас завтра же здесь не будет, – и тогда только она заснула. Я подумал, подумал и решился – поговорить с вами. По-моему, Ася права: самое лучшее – уехать нам обоим отсюда. И я сегодня же бы увез ее, если б не пришла мне в голову мысль, которая меня остановила. Может быть... как знать? – вам сестра моя нравится? Если так, с какой стати я увезу ее? Я вот и решился, отбросив в сторону всякий стыд... Притом же я сам кое-что заметил. Я решился... узнать от вас... – Бедный Гагин смутился. – Извините меня, пожалуйста, – прибавил он, – я не привык к таким передерягам.

Я взял его за руку.

– Вы хотите знать, – произнес я твердым голосом, – нравится ли мне ваша сестра? Да, она мне нравится...

Гагин взглянул на меня.

– Но, – проговорил он запинаясь, – ведь вы не женитесь на ней?

– Как вы хотите, чтобы я отвечал на такой вопрос? Посудите сами, могу ли я теперь...

– Знаю, знаю, – перебил меня Гагин. – Я не имею никакого права требовать от вас ответа, и вопрос мой – верх неприличия... Но что прикажете делать? С огнем шутить нельзя. Вы не знаете Асю; она в состоянии занемочь, убежать, свиданье вам назначить... Другая умела бы все скрыть и выждать – но не она. С нею это в первый раз, – вот что беда! Если б вы видели, как она сегодня рыдала у ног моих, вы бы поняли мои опасения.

Я задумался. Слова Гагина «свиданье вам назначить» кольнули меня в сердце. Мне показалось постыдным не отвечать откровенностью на его честную откровенность.

– Да, – сказал я наконец, – вы правы. Час тому назад я получил от вашей сестры записку. Вот она.

Гагин взял записку, быстро пробежал ее и уронил руки на колени. Выражение изумления на его лице было очень забавно, но мне было не до смеху.

– Вы, повторяю, благородный человек, – проговорил он, – но что же теперь делать? Как? она сама хочет уехать, и пишет к вам, и упрекает себя в неосторожности... и когда это она успела написать? Чего ж она хочет от вас?

Я успокоил его, и мы принялись толковать хладнокровно по мере возможности о том, что нам следовало предпринять.

Вот на чем мы остановились, наконец: во избежание беды я должен был идти на свиданье и честно объясниться с Асей; Гагин обязался сидеть дома и не подавать вида, что ему известна ее записка; а вечером мы положили сойтись опять.

– Я твердо надеюсь на вас, – сказал Гагин и стиснул мне руку, – пощадите и ее и меня. А уезжаем мы все-таки завтра, – прибавил он, вставая, – потому что ведь вы на Асе не женитесь.

– Дайте мне сроку до вечера, – возразил я.

– Пожалуй, но вы не женитесь.

Он ушел, а я бросился на диван и закрыл глаза. Голова у меня ходила кругом: слишком много впечатлений в нее нахлынуло разом. Я досадовал на откровенность Гагина, я досадовал на Асю, ее любовь меня и радовала и смущала. Я не мог понять, что заставило ее все высказать брату; неизбежность скорого, почти мгновенного решения терзала меня...

«Жениться на семнадцатилетней девочке, с ее нравом, как это можно!» – сказал я, вставая.

XV

В условленный час переправился я через Рейн, и первое лицо, встретившее меня на противоположном берегу, был самый тот мальчик, который приходил ко мне поутру. Он, по-видимому, ждал меня.

– От фрейлейн Annette, – сказал он шепотом и подал мне другую записку.

Ася извещала меня о перемене места нашего свидания. Я должен был прийти через полтора часа не к часовне, а в дом фрау Луизе, постучаться внизу и войти в третий этаж.

– Опять: да? – спросил меня мальчик.

– Да, – повторил я и пошел по берегу Рейна.

Вернуться домой было некогда, я не хотел бродить по улицам. За городской стеною находился маленький сад с навесом для кеглей и столами для любителей пива. Я вошел туда. Несколько уже пожилых немцев играли в кегли; со стуком катились деревянные шары, изредка раздавались одобрительные восклицания. Хорошенькая

служанка с заплаканными глазами принесла мне кружку пива; я взглянул в ее лицо. Она быстро отворотилась и отошла прочь.

– Да, да, – промолвил тут же сидевший толстый и краснощекий гражданин, – Ганхен наша сегодня очень огорчена: жених ее пошел в солдаты.

Я посмотрел на нее: она прижалась в уголок и подперла рукою щеку; слезы капали одна за другой по ее пальцам. Кто-то спросил пива; она принесла ему кружку и опять вернулась на свое место. Ее горе подействовало на меня; я начал думать об ожидавшем меня свидании, но мои думы были заботливые, невеселые думы. Не с легким сердцем шел я на это свидание, не предаваться радостям взаимной любви предстояло мне; мне предстояло сдержать данное слово, исполнить трудную обязанность. «С ней шутить нельзя» – эти слова Гагина, как стрелы, впились в мою душу. А еще четвертого дня в этой лодке, уносимой волнами, не томился ли я жаждой счастья? Оно стало возможным – и я колебался, я отталкивал, я должен был оттолкнуть его прочь... Его внезапность меня смущала. Сама Ася, с ее огненной головой, с ее прошедшим, с ее воспитанием, это привлекательное, но странное существо – признаюсь, она меня пугала. Долго боролись во мне чувства. Назначенный срок приближался. «Я не могу на ней жениться, – решил я, наконец, – она не узнает, что и я полюбил ее».

Я встал – и, положив талер в руку бедной Ганхен (она даже не поблагодарила меня), направился к дому фрау Луизе. Вечерние тени уже разливались в воздухе, и узкая полоса неба, над темной улицей, алела отблеском зари. Я слабо стукнул в дверь; она тотчас отворилась. Я переступил порог и очутился в совершенной темноте.

– Сюда! – слышался старушечий голос. – Вас ждут.

Я шагнул раза два ощупью, чья-то костлявая рука взяла мою руку.

– Вы это, фрау Луизе? – спросил я.

– Я, – отвечал мне тот же голос, – я, мой прекрасный молодой человек.

Старуха повела меня опять вверх, по крутой лестнице, и остановилась на площадке третьего этажа. При слабом свете, падавшем из крошечного окошка, я увидел морщинистое лицо вдовы бургомистра. Приторно-лукавая улыбка растягивала ее ввалившиеся губы, ежила тусклые глазки. Она указала мне на маленькую дверь. Судорожным движением руки отворил я ее и захлопнул за собою.

XVI

В небольшой комнатке, куда я вошел, было довольно темно, и я не тотчас увидел Асю. Закутанная в длинную шаль, она сидела на стуле возле окна, отвернув и почти спрятав голову, как испуганная птичка. Она дышала быстро и вся дрожала. Мне стало несказанно жалко ее. Я подошел к ней. Она еще больше отвернула голову...

– Анна Николаевна, – сказал я.

Она вдруг вся выпрямилась, хотела взглянуть на меня – и не могла. Я схватил ее руку, она была холодна и лежала как мертвая на моей ладони.

– Я желала... – начала Ася, стараясь улыбнуться, но ее бледные губы не слушались ее, – я хотела... Нет, не могу, – проговорила она и умолкла. Действительно, голос ее прерывался на каждом слове.

Я сел подле нее.

– Анна Николаевна, – повторил я и тоже не мог ничего прибавить.

Настало молчание. Я продолжал держать ее руку и глядел на нее. Она по-прежнему вся сжималась, дышала с трудом и тихонько покусывала нижнюю губу, чтобы не заплакать, чтобы удержать накупавшие слезы... Я глядел на нее: было что-то трогательно-беспомощное в ее робкой неподвижности: точно она от усталости едва добралась до стула и так и упала на него. Сердце во мне растаяло...

– Ася, – сказал я едва слышно...

Она медленно подняла на меня свои глаза... О, взгляд женщины, которая полюбила, – кто тебя опишет? Они молили, эти глаза, они доверялись, вопрошали, отдавались... Я не мог противиться их обаянию. Тонкий огонь пробежал по мне жгучими иглами; я нагнулся и приник к ее руке...

Послышался трепетный звук, похожий на прерывистый вздох, и я почувствовал на моих волосах прикосновение слабой, как лист дрожавшей руки. Я поднял голову и увидел ее лицо. Как оно вдруг преобразилось! Выражение страха исчезло с него, взор ушел куда-то далеко и увлекал меня за собою, губы слегка раскрылись, лоб побледнел как мрамор, и кудри отодвинулись назад, как будто ветер их откинул. Я забыл все, я потянул ее к себе – покорно повиновалась ее рука, все ее тело повлеклось вслед за рукою, шаль покатила с плеч, и голова ее тихо легла на мою грудь, легла под мои загоревшиеся губы...

– Ваша... – прошептала она едва слышно.

Уже руки мои скользили вокруг ее стана... Но вдруг воспоминание о Гагине, как молния, меня озарило.

– Что мы делаем!.. – воскликнул я и судорожно отодвинулся назад. – Ваш брат... ведь он все знает... Он знает, что я вижусь с вами.

Ася опустилась на стул.

– Да, – продолжал я, вставая и отходя на другой угол комнаты. – Ваш брат все знает... Я должен был ему все сказать.

– Должны? – проговорила она невнятно. Она, видимо, не могла еще прийти в себя и плохо меня понимала.

– Да, да, – повторил я с каким-то ожесточением, – и в этом вы одни виноваты, вы одни. Зачем вы сами выдали вашу тайну? Кто заставлял вас все высказать вашему брату? Он сегодня был сам у меня и передал мне ваш разговор с ним. – Я старался не смотреть на Асю и ходил большими шагами по комнате. – Теперь все пропало, все, все.

Ася поднялась было со стула.

– Останьтесь, – воскликнул я, – останьтесь, прошу вас. Вы имеете дело с честным человеком – да, с честным человеком. Но, ради Бога, что взволновало вас? Разве вы заметили во мне какую перемену? А я не мог скрываться перед вашим братом, когда он пришел сегодня ко мне.

«Что я такое говорю?» – думал я про себя, и мысль, что я безнравственный обманщик, что Гагин знает о нашем свидании, что все искажено, обнаружено, – так и звенела у меня в голове.

– Я не звала брата, – послышался испуганный шепот Аси, – он пришел сам.

– Посмотрите же, что вы наделали, – продолжал я. – Теперь вы хотите уехать...

– Да, я должна уехать, – так же тихо проговорила она, – я и попросила вас сюда для того только, чтобы проститься с вами.

– И вы думаете, – возразил я, – мне будет легко с вами расстаться?

– Но зачем же вы сказали брату? – с недоумением повторила Ася.

– Я вам говорю – я не мог поступить иначе. Если б вы сами не выдали себя...

– Я заперлась в моей комнате, – возразила она простодушно, – я не знала, что у моей хозяйки был другой ключ...

Это невинное извинение, в ее устах, в такую минуту – меня тогда чуть не рассердило... а теперь я без умиления не могу его вспомнить. Бедное, честное, искреннее дитя!

– И вот теперь все кончено! – начал я снова. – Все. Теперь нам должно расстаться. – Я украдкой взглянул на Асю... лицо ее быстро покраснело. Ей, я это чувствовал, и стыдно становилось и страшно. Я сам ходил и говорил, как в лихорадке. – Вы не дали развиваться чувству, которое начинало созревать, вы сами разорвали нашу связь, вы не имели ко мне доверия, вы усомнились во мне...

Пока я говорил, Ася все больше и больше наклонялась вперед – и вдруг упала на колени, уронила голову на руки и зарыдала. Я подбежал к ней, пытался поднять ее, но она мне не давалась. Я не выношу женских слез: при виде их я теряюсь тотчас.

– Анна Николаевна, Ася, – твердил я, – пожалуйста, умоляю вас, ради Бога, перестаньте... – Я снова взял ее за руку...

Но, к величайшему моему изумлению, она вдруг вскочила – с быстротою молнии бросилась к двери и исчезла...

Когда несколько минут спустя фрау Луизе вошла в комнату – я все еще стоял на самой середине ее, уж точно как громом пораженный. Я не понимал, как могло это свидание так быстро, так глупо кончиться – кончиться, когда я и сотовой доли не сказал того, что хотел, что должен был сказать, когда я еще сам не знал, чем оно могло разрешиться...

– Фрейлейн ушла? – спросила меня фрау Луизе, приподняв свои желтые брови до самой накладки.

Я посмотрел на нее как дурак – и вышел вон.

XVII

Я выбрался из города и пустился прямо в поле. Досада, досада бешеная меня грызла. Я осыпал себя укоридами. Как я мог не понять причину, заставившую Асю переменить место нашего свидания, как не оценить, чего ей стоило прийти к этой старухе, как я не удержал ее! Наедине с ней в той глухой, едва освещенной комнате у меня достало силы, достало духа – оттолкнуть ее от себя, даже упрекать ее... А теперь ее образ меня преследовал, я просил у ней прощения; воспоминания об этом бледном лице, об этих влажных и робких глазах, о развитых волосах на наклоненной шее, о легком прикосновении ее головы к моей груди – жгли меня. «Ваша...» – слышался мне ее шепот. «Я поступил по совести», – уверял я себя... Неправда! Разве я точно хотел такой развязки? Разве я в состоянии с ней расстаться? Разве я могу лишиться ее? «Безумец! безумец!» – повторял я с озлоблением...

Между тем ночь наступала. Большими шагами направился я к дому, где жила Ася.

XVIII

Гагин вышел ко мне навстречу.

– Видели вы сестру? – закричал он мне еще издали.

– Разве ее нет дома? – спросил я.

– Нет.

– Она не возвращалась?

– Нет. Я виноват, – продолжал Гагин, – не мог утерпеть: против нашего уговора, ходил к часовне; там ее не было; стало быть, она не приходила?

– Она не была у часовни.

– И вы ее не видели?

Я должен был сознаться, что я ее видел.

– Где?

– У фрау Луизе. Я расстался с ней час тому назад, – прибавил я, – я был уверен, что она домой вернулась.

– Подождем, – сказал Гагин.

Мы вошли в дом и сели друг подле друга. Мы молчали. Нам очень неловко было обоим. Мы беспрестанно оглядывались, посматривали на дверь, прислушивались. Наконец Гагин встал.

– Это ни на что не похоже! – воскликнул он, – у меня сердце не на месте. Она меня уморит, ей-богу... пойдете искать ее.

Мы вышли. На дворе уже совсем стемнело.

– О чем же вы с ней говорили? – спросил меня Гагин, надвигая шляпу на глаза.

– Я виделся с ней всего минут пять, – отвечал я, – я говорил с ней, как было условлено.

– Знаете ли что? – возразил он, – лучше нам разойтись; этак мы скорее на нее наткнуться можем. Во всяком случае, приходите сюда через час.

ХІХ

Я проворно спустился с виноградника и бросился в город. Быстро обошел я все улицы, заглянул всюду, даже в окна фрау Луизе, вернулся к Рейну и побежал по берегу... Изредка попадались мне женские фигуры, но Аси нигде не было видно. Уже не досада меня грызла, – тайный страх терзал меня, и не один страх я чувствовал... нет, я чувствовал раскаяние, сожаление самое жгучее, любовь – да! самую нежную любовь. Я ломал руки, я звал Асю посреди надвигавшейся ночной тьмы, сперва вполголоса, потом все громче и громче; я повторял сто раз, что я ее люблю, я клялся никогда с ней не расставаться; я бы дал все на свете, чтобы опять держать ее холодную руку, опять слышать ее тихий голос, опять видеть ее перед собою... Она была так близка, она пришла ко мне с полной решимостью, в полной невинности сердца и чувств, она принесла мне свою нетронутую молодость... и я не прижал ее к своей груди, я лишил себя блаженства увидеть, как ее милое лицо расцвело бы радостью и тишиною восторга... Эта мысль меня с ума сводила.

«Куда могла она пойти, что она с собою сделала?» – восклицал я в тоске бессильного отчаяния... Что-то белое мелькнуло вдруг на самом берегу реки. Я знал это место; там, над могилой человека, утонувшего лет семьдесят тому назад, стоял до половины вросший в землю каменный крест с старинной надписью. Сердце во мне замерло... Я подбежал к кресту: белая фигура исчезла. Я крикнул: «Ася!» Дикий голос мой испугал меня самого – но никто не отозвался...

Я решился пойти узнать, не нашел ли ее Гагин.

ХХ

Быстро взбираясь по тропинке виноградника, я увидел свет в комнате Аси... Это меня несколько успокоило.

Я подошел к дому; дверь внизу была заперта, я постучался. Неосвещенное окошко в нижнем этаже осторожно отворилось, и показалась голова Гагина.

– Нашли? – спросил я его.

– Она вернулась, – отвечал он мне шепотом, – она в своей комнате и раздевается. Все в порядке.

– Слава Богу! – воскликнул я с несказанным порывом радости, – слава Богу! Теперь все прекрасно. Но вы знаете, мы должны еще переговорить.

– В другое время, – возразил он, тихо потянув к себе раму, – в другое время, а теперь прощайте.

– До завтра, – промолвил я, – завтра все будет решено.

– Прощайте, – повторил Гагин. Окно затворилось.

Я чуть было не постучал в окно. Я хотел тогда же сказать Гагину, что я прошу руки его сестры. Но такое сватанье в такую пору... «До завтра, – подумал я, – завтра я буду счастлив...»

Завтра я буду счастлив! У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее – и то не день – а мгновенье.

Я не помню, как дошел я до З. Не ноги меня несли, не лодка меня везла: меня поднимали какие-то широкие, сильные крылья. Я прошел мимо куста, где пел соловей, я остановился и долго слушал: мне казалось, он пел мою любовь и мое счастье.

XXI

Когда, на другой день утром, я стал подходить к знакомому домику, меня поразило одно обстоятельство: все окна в нем были растворены, и дверь тоже была раскрыта; какие-то бумажки валялись перед порогом; служанка с метлой показалась за дверью.

Я приблизился к ней...

– Уехали! – брякнула она, прежде чем я успел спросить ее: дома ли Гагин?

– Уехали?.. – повторил я. – Как уехали? Куда?

– Уехали сегодня утром, в шесть часов, и не сказали куда. Постойте, ведь вы, кажется, господин Н.?

– Я господин Н.

– К вам есть письмо у хозяйки. – Служанка пошла наверх и вернулась с письмом. – Вот-с, извольте.

– Да не может быть... Как же это так?.. – начал было я.

Служанка тупо посмотрела на меня и принялась мести.

Я развернул письмо. Ко мне писал Гагин; от Аси не было ни строчки. Он начал с того, что просил не сердиться на него за внезапный отъезд; он был уверен, что, по зрелом соображении, я одобрю его решение. Он не находил другого выхода из положения, которое могло сделаться затруднительным и опасным. «Вчера вечером, – писал он, – пока мы оба молча ожидали Асю, я убедился окончательно в необходимости разлуки. Есть предрассудки, которые я уважаю; я понимаю, что вам нельзя жениться на Асе. Она мне все сказала; для ее спокойствия я должен был уступить ее повторенным, усиленным просьбам». В конце письма он изъяснял

сожаление о том, что наше знакомство так скоро прекратилось, желал мне счастья, дружески жал мне руку и умолял меня не стараться их отыскивать.

«Какие предрассудки? – вскричал я, как будто он мог меня слышать, – что за вздор! Кто дал право похитить ее у меня...» Я схватил себя за голову...

Служанка начала громко кликать хозяйку: ее испуг заставил меня прийти в себя. Одна мысль во мне загорелась: сыскать их, сыскать во что бы то ни стало. Принять этот удар, примириться с такою развязкой было невозможно. Я узнал от хозяйки, что они в шесть часов утра сели на пароход и поплыли вниз по Рейну. Я отправился в контору: там мне сказали, что они взяли билеты до Кёльна. Я пошел домой с тем, чтобы тотчас уложиться и поплыть вслед за ними. Мне пришлось идти мимо дома фрау Луизе... Вдруг я слышу: меня кличет кто-то. Я поднял голову и увидел в окне той самой комнаты, где я накануне виделся с Асей, вдову бургомистра. Она улыбалась своей противной улыбкой и звала меня. Я отвернулся и прошел было мимо; но она мне крикнула вслед, что у ней есть что-то для меня. Эти слова меня остановили, и я вошел в ее дом. Как передать мои чувства, когда я увидел опять эту комнатку...

– По-настоящему, – начала старуха, показывая мне маленькую записку, – я бы должна была дать вам это только в случае, если б вы зашли ко мне сами, но вы такой прекрасный молодой человек. Возьмите.

Я взял записку.

На крошечном клочке бумаги стояли следующие слова, торопливо начерченные карандашом:

«Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю – нет, мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если б вы мне сказали одно слово, одно только слово – я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше... Прощайте навсегда!»

Одно слово... О, я безумец! Это слово... я со слезами повторял его накануне, я расточал его на ветер, я твердил его среди пустых полей... но я не сказал его ей, я не сказал ей, что я люблю ее... Да я и не мог произнести тогда это слово. Когда я встретился с ней в той роковой комнате, во мне еще не было ясного сознания моей любви; оно не проснулось даже тогда, когда я сидел с ее братом в бессмысленном и тягостном молчании... оно вспыхнуло с неудержимой силой лишь несколько мгновений спустя, когда, испуганный возможностью несчастья, я стал искать и звать ее... но уж тогда было поздно. «Да это невозможно!» – скажут мне; не знаю, возможно ли это, – знаю, что это правда. Ася бы не уехала, если б в ней была хоть тень кокетства и если б ее положение не было ложно. Она не могла вынести того, что всякая другая снесла бы: я этого не понял. Недобрый мой гений остановил признание на устах моих при последнем свидании с Гагиным перед потемневшим окном, и последняя нить, за которую я еще мог ухватиться, – выскользнула из рук моих.

В тот же день вернулся я с уложенным чемоданом в город Л. и поплыл в Кёльн. Помню, пароход уже отчаливал, и я мысленно прощался с этими улицами, со всеми этими местами, которые я уже никогда не должен был позабыть, – я увидел Ганхен. Она сидела возле берега на скамье. Лицо ее было бледно, но не грустно; молодой красивый парень стоял с ней рядом и, смеясь, рассказывал ей что-то; а на другой стороне Рейна маленькая моя мадонна все так же печально выглядывала из темной зелени старого ясеня.

В Кёльне я напал на след Гагиных; я узнал, что они поехали в Лондон; я пустился вслед за ними; но в Лондоне все мои розыски остались тщетными. Я долго не хотел смириться, долго упорствовал, но я должен был отказаться, наконец, от надежды настигнуть их.

И я не увидел их более – я не увидел Аси. Темные слухи доходили до меня о нем, но она навсегда для меня исчезла. Я даже не знаю, жива ли она. Однажды, несколько лет спустя, я мельком увидал за границей, в вагоне железной дороги, женщину, лицо которой живо напомнило мне незабвенные черты... но я, вероятно, был обманут случайным сходством. Ася осталась в моей памяти той самой девочкой, какую я знал ее в лучшую пору моей жизни, какую я ее видел в последний раз, наклоненной на спинку низкого деревянного стула.

Впрочем, я должен сознаться, что я не слишком долго грустил по ней: я даже нашел, что судьба хорошо распорядилась, не соединив меня с Асей; я утешался мыслию, что я, вероятно, не был бы счастлив с такой женой. Я был тогда молод – и будущее, это короткое, быстрое будущее, казалось мне беспредельным. Разве не может повториться то, что было, думал я, и еще лучше, еще прекраснее?.. Я знал других женщин, – но чувство, возбужденное во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось. Нет! ни одни глаза не заменили мне тех, когда-то с любовью устремленных на меня глаз, ни на чье сердце, припавшее к моей груди, не отвечало мое сердце таким радостным и сладким замиранием! Осужденный на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню, как святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издает слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле... И я сам – что случилось со мною? Что осталось от меня, от тех блаженных и тревожных дней, от тех крылатых надежд и стремлений? Так легкое испарение ничтожной травки переживает все радости и все горести человека – переживает самого человека.

Примечания

[1]Лон-лакей – лакей, которого берут за плату; здесь: проводник.

[2]«Грюне Гевёлбе» – (буквально: зеленый свод) – название одного из музеев Дрездена, где хранится ценная коллекция предметов ювелирного искусства.

[3]Добрый вечер! (нем.)

[4]Мадонна – с древних времен слово мадонна в Италии обозначало живописное или скульптурное изображение молодой матери с младенцем.

[5]Старинная немецкая песня.

[6]Старинная студенческая песня на латинском языке.

[7]Филистер – самодовольный, ограниченный человек, заботящийся только о своем благополучии.

[8]Добрый вечер, мадам! (нем.)

[9]Книксен – вежливый поклон с приседанием.

[10]Бургомистр – выборное лицо, стоявшее во главе городского самоуправления.

[11]Знаменитая фреска «Триумф Галатеи» работы Рафаэля.

[12]В стиле Ван Дейка (фр.).

[13]Лорелея – имя девушки, героини немецкого фольклора. Лорелея зазывала своим пением рыбаков, и те разбивались о скалы.